

В. Неведомская

Воспоминания о Гумилеве и Ахматовой

Судьба свела меня с Гумилевым в 1910 году. Вернувшись в июле из-за границы в наше имение Подобино — в Бежецком уезде Тверской губ., — я узнала, что у нас появились новые соседи. Мать Н.С. Гумилева получила в наследство небольшое имение Слепнево, в 6 верстах от нашей усадьбы. Слепнево, собственно, не было барским имением, это была скорее дача, выделенная из Борискова, имения Кузьминых-Караваевых. Мой муж уже побывал в Слепневе несколько раз, получил от Гумилева его недавно вышедший сборник «Жемчуга» и был уже захвачен обаянием гумилевской поэзии.

Я, как сейчас, помню мое первое впечатление от встречи с Гумилевым и Ахматовой в их Слепневе. На веранду, где мы пили чай, Гумилев вошел из сада; на голове — феска лимонного цвета, на ногах — лиловые носки и сандалии и к этому русская рубашка. Впоследствии я поняла, что Гумилев вообще любил гротеск и в жизни, и в костюме. У него было очень необычное лицо: не то Би-Ба-Бо, не то Пьеро, не то монгол, а глаза и волосы светлые. Умные, пристальные глаза слегка косят. При этом подчеркнута церемонные манеры, а глаза и рот слегка усмеваются; чувствуется, что ему хочется созорничать и подшутить над его добрыми тетушками, над этим чаепитием с вареньем, с разговорами о погоде, об уборке хлебов и т. п.

У Ахматовой строгое лицо послушницы из староверческого скита. Все черты слишком острые, чтобы назвать лицо красивым. Серые глаза без улыбки. Ей могло быть тогда 21–22 года. За столом она молчала, и сразу почувствовалось, что в семье мужа она чужая. В этой патриархальной семье и сам Николай Степанович, и его жена были как белые вороны. Мать огорчалась тем, что сын не хотел служить ни в гвардии, ни по дипломатической части, а стал поэтом, пропадает в Африке и жену привел какую-то чудную: тоже пишет стихи, все молчит, ходит то в темном ситцевом платье вроде сарафана, то в экстравагантных парижских туалетах (тогда носили узкие юбки с разрезом). Конечно, успех «Жемчугов» и «Четок» произвел в семье впечатление, однако отчужденность все же так и оставалась. Сама Ахматова так вспоминает об этом периоде своего «тверского уединенья»:

Но все мне памятна до боли
Тверская скудная земля.
Журавль у ветхого колодца,
Над ним, как кипень, облака,
В полях скрипучие воротца,
И запах хлеба, и тоска.
И те неяркие просторы,
Где даже голос ветра слаб,
И осуждающие взоры
Спокойных, загорелых баб.

После чая мы, молодежь, пошли в конюшню смотреть лошадей, потом к старому пруду, заросшему тиной. Выйдя из дома, Николай Степанович сразу оживился, рассказывал об Африке, куда он мечтал снова поехать. Потом он и Ахматова читали свои стихи. Оба читали очень просто, без всякой декламации и напевности, которые в то время были в моде. Расставаясь, мы сговорились, что Гумилевы приедут к нам на другой же день.

Наше Подобино было совсем не похоже на Слепнево. Это было подлинное «дворянское гнездо» — старый барский дом с ампириными колоннами, громадный запущенный парк, овеванный романтикой прошлого, верховые лошади и полная свобода. Там не было гнета «старших»: мой муж в 24 года распорядился имением самостоятельно. Были

тетушки, приезжавшие на лето, но они сидели по своим комнатам и не вмешивались в нашу жизнь.

Здесь Гумилев мог развернуться, дать волю своей фантазии. Его стихи и личное обаяние совсем околдовали нас, и ему удалось внести элемент сказочности в нашу жизнь. Он постоянно выдумывал какую-нибудь затею, игру, в которой мы все становились действующими лицами. И в конце концов мы стали видеться почти ежедневно.

Началось с игры в «цирк». В Слепневе с верховыми лошадьми дело обстояло плохо, выездных лошадей не было, и Николай Степанович должен был вести длинные дипломатические переговоры с приказчиком, чтобы получить под верх пару полурбочих лошадей. У нас же, в Подобине, кроме наших с мужем двух верховых лошадей всегда имелось еще несколько молодых лошадей, которые предоставлялись гостям. Лошади, правда, были еще мало объезженные, но никто этим не смущался. Николай Степанович ездить верхом, собственно говоря, не умел, но у него было полное отсутствие страха. Он садился на любую лошадь, становился на седло и проделывал самые головоломные упражнения. Высота барьера его никогда не останавливала, и он не раз падал вместе с лошадью.

В цирковую программу входили также танцы на канате, хождение колесом и т. д. Ахматова выступала как «женщина-змея»; гибкость у нее была удивительная — она легко закладывала ногу за шею, касалась затылком пяток, сохраняя при всем этом строгое лицо послушницы. Сам Гумилев, как директор цирка, выступал в прадедушкином фраке и цилиндре, извлеченных из сундука на чердаке. Помню, раз мы заехали кавалькадой человек в десять в соседний уезд, где нас не знали. Дело было в Петровки, в сенокос. Крестьяне обступили нас и стали спрашивать — кто мы такие? Гумилев, не задумываясь, ответил, что мы бродячий цирк и едем на ярмарку в соседний уездный город давать представление. Крестьяне попросили нас показать наше искусство, и мы проделали перед ними всю нашу «программу». Публика пришла в восторг, и кто-то начал собирать медяки в нашу пользу. Тут мы смутились и поспешно исчезли.

В дальнейшем постоянным нашим занятием была своеобразная игра, изобретенная Гумилевым: каждый из нас изображал какой-то определенный образ или тип — «Великая интриганка», «Дон-Кихот», «Любопытный» (он имел право подслушивать, перехватывать письма и т. п.), «Сплетник», «Человек, говорящий всем правду в глаза» и так далее. При этом назначенная роль вовсе не соответствовала подлинному характеру данного лица — «актера», скорее наоборот, она прямо противоречила его природным свойствам. Каждый должен был проводить свою роль в повседневной жизни. Забавно было видеть, как каждый из нас постепенно входил в свою роль и перевоплощался. Наша жизнь как бы приобрела новое измерение. Иногда создавались очень острые положения; но сознание, что все это лишь шутка, игра, останавливало назревавшие конфликты. Старшее поколение смотрело на все это с сомнением и только качало головой. Нам говорили: «В наше время были приличные игры: фанты, горелки, шарады... А у вас — это что же такое? Прямо умопомрачение какое-то!»

Но влияние Гумилева было неизмеримо сильнее тетушкиных поучений. В значительной мере нас увлекала именно известная рискованность игры. В романтической обстановке старых дворянских усадеб, при поездках верхом при луне и т. п., конечно, были увлечения, более или менее явные, и игра могла привести к столкновениям. В характере Гумилева была черта, заставлявшая его искать и создавать рискованные положения хотя бы лишь психологически. Помимо этого у него было влечение к опасности чисто физической. В беззаботной атмосфере нашей деревенской жизни эта тяга к опасности находила удовлетворение только в головоломном конском спорте. Позднее она потянула его на войну. Гумилев поступил добровольцем в лейб-гвардии Уланский полк. Не было опасной разведки, в которую он бы не вызвался. Для него война была тоже игрой — веселой игрой, где ставкой была жизнь. При большевиках он с увлечением составлял

заговор среди матросов. Арестованный, он спокойно заявил себя монархистом и непримиримым противником большевизма. Несомненно, что и на расстрел он вышел совершенно спокойно — это входило в правила игры.

Но я забегаю вперед... Мне вспоминается осень 1911 года. В конце августа начались осенние дожди и прекратили наше кочевание по округе. Кому-то явилась мысль о домашнем театре. Мы все забрались в нашу старую библиотеку, где «последней новинкой» было одно из первых изданий Пушкина (там было тоже издание Вольтера, которое можно было читать только в лупу). Все уселись с ногами на диваны, и Николай Степанович стал сочинять пьесу. Называлась она «Любовь-отравительница»; место действия — Испания; эпоха — 13-й век. Желания у нас, актеров, были очень пестры: один настаивал, чтобы были введены персонажи итальянской комедии «Комедия дель Арте» — Коломбина, Пьеро, Арлекин и т. д.; другой непременно хотел, чтобы был кардинал, третий требовал яда и смертей, еще кто-то просил для себя роли привидения. И Николай Степанович, шутя, тут же при нас создал пьесу в стихах. Текст пьесы остался в России. В свое время мы все знали его наизусть, но за 40 с лишним лет стихи стерлись из памяти, кроме немногих отдельных строчек. Вот краткое содержание этой пьесы.

Раненый рыцарь, возвращаясь из похода против мавров, попадает в провинциальный монастырь. Монашки ухаживают за ним, и он увлекается послушницей, сестрой Марией. Игуменья узнает об этом и возмущена. Влюбленные удручены: но судьба посылает им помощь в лице кардинала, дяди рыцаря. Возвращаясь из Рима от папы, кардинал по дороге узнает, что его племянник лежит в монастыре раненый, и он заезжает навестить его. Кардинал светский и элегантный, и ему сразу ясна ситуация. Он отзывает игуменью в сторону, и между ними происходит очаровательная сцена: кардинал в певучей латинской речи внушает игуменье снисходительность к увлечениям молодежи. Провинциальная игуменья слаба в латыни; она робеет, путается в словах и от конфуза на все соглашается. Фокус Гумилева был в том, что весь разговор был только музыкальной имитацией латыни: отдельные латинские слова и латиноподобные звуки сплетались в стихах, а содержание разговора передавалось только жестами и мимикой.

Казалось бы, все улажено; но судьба создает новое препятствие. В свое время отец рыцаря был убит кем-то неизвестным, и рыцарь связан клятвой мести. Неожиданно появляется друг рыцаря и сообщает, что какая-то старая цыганка, умирая, открыла тайну: отец рыцаря был убит отцом сестры Марии. Долг мести препятствует браку. Все мрачно, и соответственно этому сцена темнеет, сверкает молния, гремит гром и начинается ливень. Стук в монастырские ворота, и жалобные голоса просят приюта на ночь. Это труппа странствующих комедиантов, промокших до нитки. Они отряхиваются, осматриваются и очень быстро уясняют положение дела. Коломбина выступает в защиту любви:

Христос велел любить!
Игуменья: Как сестры и как братья!
Коломбина: По-всячески и верно без изъятья!

Обращаясь к рыцарю, комедианты поют:

Милый дон, что за сон?
 Ты ведь юн и влюблен!
 Брачного платья мягкий шелк
 Забыть поможет тяжкий долг...

Рыцарь колеблется. Кардинал, любитель театра, просит комедиантов показать свое искусство. Коломбина быстро распределяет роли:

Ты будь Агамемнон, ты — Гектор, ты — Парис,
 Еленой буду я, а это вот нектар...

(показывает на бутылочку с лекарством). И в течение нескольких минут они разыгрывают «Прекрасную Елену». Мрачное настроение рассеяно, и дело идет к свадьбе. Но тут появляется тень убитого отца и грозит рыцарю проклятием, если он, забыв святой долг мести, соединится с дочерью убийцы. На этот раз положение безысходное: рыцарь в отчаянии закалывается, а сестра Мария принимает яд.

Вся пьеса была шаржирована до гротеска. Николай Степанович режиссировал, упорно добиваясь ложноклассической дикции, преувеличенных жестов и мимики. Его воодушевление и причудливая фантазия подчиняли нас полностью, и мы покорно воспроизводили те образы, которые он нам внушал. Все фигуры этой пьесы схематичны, как и образы стихов и поэм Гумилева. Ведь и живых людей, с которыми он сталкивался, Н.С. схематизировал и заострял, применяясь к типу собеседника, к его «коньку», ведя разговор так, что человек становился рельефным; при этом «стилизуемый объект» даже не замечал, что Н.С. его все время «стилизует».

Между многочисленными тетушками, приезжавшими на лето в нашу усадьбу, была очаровательная тетя Пофинька. Ей было тогда 86 лет. В молодости у нее был какой-то бурный роман, в результате которого она не вышла замуж и законсервировалась, как маленькая, сухонькая мумия. На плечах всегда кружевная мантилька, на руках митенки, на голове кружевная косынка и поверх нее — даже в комнате — шляпа, чтобы свет не слепил глаза. Нам было известно, что тетя Пофинька в течение 50 лет вела дневник на французском языке. Мы все — члены семьи и наши гости — фигурировали в этом дневнике, и Гумилеву страшно хотелось узнать, как мы все отражаемся в мозгу тети Пофиньки. Он повел регулярную осаду на старушку, гулял с ней по аллеям, держал шерсть, которую она сматывала в клубок, навел ее на воспоминания молодости. Не прошло и недели, как он стал ее фаворитом и приглашался в комнату тети Пофиньки слушать выдержки из заветного дневника. Кончился этот флирт весьма забавно: в одной беседе тетя Пофинька ополчилась на «гигантские шаги», которыми мы тогда увлекались, но которые, по ее мнению, были «неприличны». Для убедительности она рассказала ряд случаев: поломанные ноги, расшибленные головы — все якобы на «гигантских шагах». Николай Степанович слушал очень внимательно и наконец серьезно и задумчиво произнес: «Теперь я понимаю, почему в Тверской губернии так мало помещиков: оказывается, 50 процентов их погибло на “гигантских шагах”!» Этой иронии тетя Пофинька никогда не простила Н.С., и дневник ее закрылся для него навсегда.

Была и другая тетушка — тетя Соня Неведомская, для своих 76 лет очень еще живая и восприимчивая. Сначала она возмущалась современной поэзией. Потом — нет-нет да вдруг и попросит: «Пожалуйста, душка, прочти мне... как это: «Как будто не все пересчитаны звезды, как будто весь мир не открыт до конца...» Под конец нашей жизни в Подбине, т. е. накануне мировой войны, тетя Соня уже знала наизусть многие стихи Гумилева и полюбила их.

С 1910 по 1914 год мы каждое лето проводили в Подбине и постоянно виделись с Гумилевым. С Н.С. у нас сложились в то время очень дружеские отношения. Помню осень, если не ошибаюсь, 1912 года. Мы все вместе уезжаем вечерним поездом на зиму в Петербург. На вокзале Гумилев, шутя, импровизирует:

Грустно мне, что август мокрый
Наших коней расседлал,
Занавешивает окна,
Запирает сеновал.

И садятся в поезд сонный,
Смутно чувствуя покой,
Кто мечтательно влюбленный,
Кто с разбитой головой.

И к Тебе, великий Боже,
Я с одной мольбой приду:
Сделай так, чтоб было то же
Здесь и в будущем году.

Это один из многих экспромтов на домашние темы, которым Н.С. не придавал никакого значения и никогда не помещал в печати.

Ахматова — в противоположность Гумилеву — всегда была замкнутой и всюду чужой. В Слепневе, в семье мужа, ей было душно, скучно и неприветливо. Но и в Подобине, среди нас, она присутствовала только внешне. Оживлялась она только тогда, когда речь заходила о стихах. Гумилев, который вообще был неспособен к зависти, ставил стихи Ахматовой в музыкальном отношении выше своих. Я случайно запомнила одно стихотворение Ахматовой, которое, насколько я знаю, не было напечатано:

Угадаешь ты ее не сразу,
Жуткую и темную заразу,
Ту, что люди нежно называют,
От которой люди умирают.

Первый признак — странное веселье,
Словно ты пила хмельное зелье.
А потом печаль, печаль такая,
Что нельзя вздохнуть, изнемогая.

Только третий признак настоящий:
Если сердце замирает слаще
И мерцают в темном взоре свечи.
Это значит — вечер новой встречи.

Ночью ты предчувствием томима:
Над собой увидишь серафима.
А лицо его тебе знакомо...
И накинёт душная истома

На тебя атласный черный полог.
Будет сон твой тяжек и недолог...
А наутро встанешь с новой загадкой,
Но уже не ясной и не сладкой,

И омоешь пыточную кровью
То, что люди назвали любовью.

Зимой мы с Гумилевыми встречались редко. Они жили у матери Николая Степановича в Царском Селе; ей принадлежала там большая дача со старым садом и оранжереей. Помню один званый вечер у них. Собрались поэты: элегантный Блок; Михаил Кузмин с подведенными глазами; Клюев — подстриженный в скобку и заметно дичившийся; граф Комаровский, незадолго перед тем вышедший из клиники душевнобольных (Гумилев считал его очень талантливым). Кто-то читал свои стихи. Но было в настроении что-то напряженное, и сам Гумилев казался связанным.

Несколько раз встречали мы Гумилевых в «Бродячей собаке», где собирались поэты, художники и все, кто тянулся к художественной богеме. Там с Гумилевым заметно считались и прислушивались к его мнению; однако я думаю, что близкой дружбы у него не было ни с кем. Ближе других ему был, пожалуй, Блок¹. Как-то раз у нас с Н.С. зашла речь о пророческом элементе в творчестве Блока. Н.С. сказал:

«Ну что ж, если над нами висит катастрофа, надо принять ее смело и просто. У меня лично никакого гнетущего чувства нет, я рад принять все, что мне будет послано роком».

Надо сказать, что в 1910–1912 годах ни у кого из нас никакого ясного ощущения надвигающихся потрясений не было. Те предвестники бури, которые ощущались Блоком,

¹ О близости Гумилева к Блоку не имеется никаких достоверных свидетельств.

имели скорее характер каких-то мистических флюидов, носившихся в воздухе. Гумилев говорил как-то о неминуемом столкновении белой расы с цветными. Ему представлялся в будущем упадок белой расы, тонушей в материализме, и, как возмездие за это, восстание желтой и черной рас. Эти мысли были скорей порядка умственных выводов, а не предчувствий, но, помню, он сказал мне однажды:

«Я вижу иногда очень ясно картины и события вне круга нашей теперешней жизни; они относятся к каким-то давно прошедшим эпохам, и для меня дух этих старых времен гораздо ближе того, чем живет современный европеец. В нашем современном мире я чувствую себя гостем».

По-видимому, это как раз те самые переживания, которые Гумилев передал в стихотворной форме:

Я, верно, болен — на сердце туман.
Мне скучно все: и люди, и рассказы.
Мне снятся королевские алмазы
И весь в крови широкий ятаган.
Мой предок был татарин косоглазый
Или свирепый гунн. Я веяньем заразы,
Через века дошедшей, обуян.
Я жду, томлюсь, и отступают стены...
Вот океан весь в клочьях белой пены,
Закатным солнцем залитый гранит
И город с голубыми куполами,
С цветущими жасминными садами...
Мы дрались там... Ах да, я был убит.

Это стихотворение совсем не случайно для Гумилева — он много раз возвращался к этой теме. И это было не позерство, это было очень искренно. Может быть — предчувствие?